

К. Банников

Стойкие солдатики с оловянными глазами

Метаморфозы культуры в механическом социуме

Механический социум и механика социогенеза

“Если бы армия не была бы тюрьмой, не было бы заборов”, – любил повторять начальник штаба Самаркандской учебки, в которой я оказался призванным исполнить “почетную обязанность”. Надо сказать, что несвобода по дороге в армию не чувствовалась. Ситуация воспринималась скорее как карнавал. Даже к стычке с дембелями в вагоне отнеслись как к приключению. Мы искренне не понимали, почему они – такие же солдаты, как и мы, – могут нами командовать, и от этого непонимания им неплохо “вломили”. Каждый из нас по дороге туда еще был личностью, готовой это объяснить тем, для кого мир все еще делился на “дембелей” и “духов”.

Но вот когда за спиной закрывались раздвижные ворота КПП, мы, всю дорогу развязно галдевшие, как-то притихли. Никто из нас тогда еще не знал, что был такой классик социологии Эмиль Дюркгейм, который назвал сообщества, подобные нашему, “механическими”, но каждый почувствовал отсекающий смысл этого механического движения. Теперь все, что было с нами до этих ворот: весь наш жизненный опыт, профессиональные навыки, морально-нравственные представ-

ления, все наши планы на будущее – все, из чего время культуры тклет личность, больше не имеет значения, ни даже смысла.

Само понятие “смысл” можно истолковать как синоним времени. Синхронное существование без диахронной проекции бессмысленно. Более того, в нем можно обнаружить воплощенное отсутствие. Августин Аврелий говорил, что

К стычке с дембелями в вагоне мы отнеслись как к приключению, искренне не понимая, почему они – такие же солдаты, как и мы, – могут нами командовать, и от этого непонимания им неплохо вломили. Каждый из нас по дороге туда еще был личностью, готовой это объяснить тем, для кого мир все еще делился на “дембелей” и “духов”

прошлого уже нет, будущего еще нет, поэтому настоящее – настолько малая величина, что о ее существовании вне контекста прошлого и будущего даже говорить нет оснований. Эта мысль

Аврелия – философа, повлиявшего на формирование европейской ментальности в ее парадигме восприятия времени, – вспоминается при чтении трудов, пожалуй, любого из европейских ученых. Для российского этнолога и антрополога Сергея Арутюнова вектор развития культурных сообществ в их локальных формах и глобальных закономерностях определяется соотношением синхронных и диахронных потоков культурно-значимой информации. Об-

щина, род, племя, народ, этнос, нация, тусовка, их костюмы, территории, знаки идентичности – все это материализованные сгустки синхронной и диахронной информации в их разных соотношениях. Информационные процессы в условиях глобализации общения – предмет внимания философа Владимира Миронова. “Я называю это клиповой культурой, существующей в качестве набора фрагментов, как в музыкальном клипе, – поясняет мыслитель. – Возможности современных телекоммуникаций приводят к тому, что информационные технологии начинают навязывать свои законы культуре, создавать кумиров миллионов людей из ничего. Представьте, что в Средние века четыре парня из Ливерпуля спели свою песню. Кто бы про них узнал? На соседней улице, может, через год... А в условиях глобальной синхронизации информации любого подонка можно сделать героем или героя подонком мгновенно. Мы в любой момент можем спросить Джона из Джерси, что он пил вчера вечером и как он себя чувствует, но стоило ли ради этого изобретать интернет? Получается, общения становится все больше, а смысла



в нем все меньше. А когда общение становится не средством трансляции смыслов, а целью самого себя, миром начинают править бессмысленные симулякры”.

Итак, тотальное синхронное общение, предмет которого актуален здесь и сейчас, – это механизм выхолащивания смыслов. Синхронное без диахронного есть не что иное, как бессмысленное общение. Блаженно мудр был Августин Аврелий.

...Ворота замкнулись, сообщив каждому почти физическое ощущение причины нашего пребывания вместе: не воля, не случай, не закон – но забор с воротами на замке, простейший и, вероятно, древнейший из механизмов, стал причиной консолидации наших тел на этом промозгом ночном плацу. Мы представляли собой брикет человеческих тел, каждое из которых имело свое понимание относительно данной ситуации, но не было ни одного, кто оказался бы здесь, в кругу ему подобных, по собственной воле.

Как сложатся наши вынужденные отношения друг с другом? Как следует себя вести, чтобы сохранить лицо? Эти вопросы звучали в унисон с более приземленными – например, как спрятать во время переобувания в сапоги, предполагающие ношение портянок, свои носки? Как сохранить наши денежные “зачачки”, чтобы их не сперли во время мытья в обещанной бане, и где их вообще потом хранить? Вопросы не из праздных. В армии все крадут все у всех – хлястики шинелей, бляхи ремней, полотенца, портянки, зубные щетки. Осуждается при этом не вор, а обворованный. “В армии нет понятия «украл», есть понятие «нашел», – учил нас наш старшина. – И нет такого понятия «потерял», но есть понятие «про.бал». В общем, виноват слабейший. Закон природы”.

Человек в концентрированном виде – esse homo est?

Закон природы. Только природы не культурной, а биологической. То, что в общении с ближним следует вести себя брутально, было понятно и без старшины. Выпяченные, надутые торсы, напряженная мускулатура, взгляды исподлобья, сжатые челюсти, вальяжные, развязные движения, низкие голоса, жесты агрессии, характерные движения подбородком – портрет среднестатистического новобранца в кругу себе подобных напоминает приготовившегося к стычке самца любого другого млекопитающего.

Когда новобранцев расформируют по частям, они себя так уже не ведут. Там, где вместе живут солдаты разных периодов службы, так *положено* вести себя старослужащим. “Положено по сроку службы”, – так они говорят. Новобранцев, молодых солдат там узнать легко, даже не по знакам неуставной иерархии, в которой социально оформляется дедовщина, а по съезжившимся фигурам с втянутой шеей, словно готовой к удару, и более всего по выражению глаз – как у затравленного зверька. Хаос лиминальной группы оформился в примитивной иерархии, в ее самых крайних выражениях: “верхи” – они есть “все”, “низы” – “никто”. Привилегированные классы – “черпаки” (прослужившие год), “деды”, прослужившие полтора года, и “дембеля”, об увольнении которых в запас уже вышел приказ министра обороны, обладают абсолютной полнотой власти над классами “духов” – тех, кто служит первые полгода, и “молодых”, которые служат вторые полгода.

Степени этого насилия, как это вполне демонстрируют периодически прорывающиеся в СМИ примеры, – за гранью человеческого, равно как и смысл его – за гранью понимания. Но это только для обывателя, наблюдающего казарменные реалии через забор воинских частей с точки зрения своей культуры. Молодые солдаты принимают издевательства старослужащих, не пытаясь оказать ни малейшего сопротивления. Почему? Потому что они видят в жестокостях дедовщины логику закона. Почему они не видят ее в том, что называют “уставщиной”? Потому что в отличие от устава, не предлагающего своим “строевым

единицам” каких-либо стимулов для добросовестной службы, закон дедовщины выглядит логичным в делении жизни солдата на две равные по сроку половины: первый год ты – “никто”, второй год ты – “все”. И солдаты находят в этом, во-первых, своего рода справедливость; во-вторых, со-

Мы представляли собой брикет человеческих тел, каждое из которых имело свое понимание относительно данной ситуации, но не было ни одного, кто оказался бы здесь, в кругу ему подобных, по собственной воле

циальную динамику, статусный прогресс, перспективу, возвращающую в их жизнь само время, а с ним и диахронную проекцию их современного существования, то есть смысл.

Нет более красноречивой модели тотального и бессмысленного общения, равно как большей степени синхронности коммуникаций, чем коммуникация людей в концентрационных учреждениях: в концлагерях, на зонах, в солдатских казармах, в коммунальных квартирах – везде, где люди находятся в сообществе вынужденно и постоянно.

Солдатский строй – это брикет “человеческого концентрата”, приходящий в движение по сигналу-команде. Но ведь каждый из тех, для кого государство объявило смыслом существования простое механическое движение и с кого оно сняло личную моральную ответственность, – он же homo sapiens sapiens! Человек разумный мыслящий! Cogito ergo sum – это же про него сказано. Не “марширую, значит существую”, а “мыслю”!

– ...А смысл? – заикнулся восемнадцать лет назад автор этих строк, уточняя суть какого-то абсурдного с его точки зрения приказа, – и получил “первую поправку” картезианской философии в исполнении командира батальона.

– Товарррищщ солдаат! Застегните крючок!!! ...Не ищите высоких смыслов, и не будете иметь неприятностей на службе. Вопросы есть?

– Никак нет!

– Крррругом! Шагмммммарш!

Юнгианские архетипы дембельской сказки

Судя по тому, что в своей структурной семантической основе насилие “дедов” оформляется по таким же мифо-ритуальным алгоритмам, какие пронизывают любое архаическое общество, в семиотике этого ритуального насилия мы сталкиваемся с проявлением архетипических структур коллективного бессознательного. Очевидно, что они, в обычное время в культурных сообще-

Помимо превращения человеческой массы в социальную структуру, дедовщина возвращает людям отобранное на призывных пунктах время, гарантируя им социальное “светлое завтра” – повышение статуса

ствах как бы дремлющие, актуализируются, пробуждаются в моменты распада их культурно-информационной ткани. Иными словами, базовые структуры сознания срабатывают на манер перегорающих в скачке напряжения предохранителей – сами перегорели, но спасли дом от пожара. Так и в армии – казармы по ночам превращаются в карнавал в дурдоме с элементами садизма, но зато “товарищи по оружию” не впадают в тотальное “мочилово”, когда им это оружие выдают. А если и впадают, то далеко не все и не всегда.

Резко очерченные доминантно-статусные отношения дедовщины возникают как реакция на десоциализацию. Помимо превращения человеческой массы в социальную структуру, она возвращает людям отобранное на призывных пунктах время, гарантируя им социальное “светлое завтра” – повышение статуса. Переход из “никто” во “все”, обряд перевода в “черпаки” осуществляется посредством двенадцати – по количеству месяцев службы – ударов солдатским ремнем по ягодицам. Этот обряд – прямой аналог инициаций в первобытном обществе. В безвременье бесстатусности растворяется мальчик, вчерашний “дух”, рождается мужчина, воин – субъект времени. Отныне время будет сопровождать его повсюду,

вплоть до приказа об увольнении в запас, с которым он, подобно умирающим предкам, перейдет в абсолютное инобытие дембеля.

“Молодого” в “черпаки” переводят те, кому скоро предстоит увольняться в запас. Они его должны хлестать своим ремнем, который после двенадцатого удара торжественно вручают свежепосвященному. На оборотной стороне ремня пишут какое-нибудь благопожелание и срезают метки, которыми они обозначали месяцы, сосчитанные до окончания своей службы. Этот ремень они получили аналогичным образом. И таким же образом свежепосвященный передаст его своему “духу”. Поэтому такие “дедовские” ремни являют собой макет, знаково воплощающий социальную историю.

Имеется у солдат также и семантический макет антропологической истории. С наступлением “ста дней до приказа” кровати “дедов” (на которых будет распространяться этот приказ) оформляются как семиотическая модель хронотопа, детерминированная: *a*) временем жизни (хронос); *b*) антропометрией тела (топос). Делается это следующим образом. По всей длине кроватиной рамы приклеивается длинная узкая полоса бумаги или ткани, на которой написаны числа от 100 до 1. Каждую полночь “духи” отрывают или зачеркивают по одной цифре.

Данный шедевр семиотического моделирования хронотопа называется “стометровкой”. Этот календарный макет непосредственно повторяет протяженность тела спящего. Укорачивание календарного отрезка обозначает изменение воинского статуса в направлении его прекращения. Поэтому важно, что длина календарной линии ассоциируется с финишной прямой, которую нужно “пробежать” во времени, чтобы оказаться на границе трансцендентного перехода. Важно и то, что духи должны отрывать очередную цифру в полночь, когда “дед” спит или делает вид, что спит.

Оформление кровати как модели хронотопа придает ложу доминанта значение сакрально организованного пространства. С каждой ночью пространственная, физическая модель все короче: солдат, приближаясь к дембелю, как бы “тает во времени” и в последнюю ночь на день объявляе-

ния приказа об увольнении в запас переходит “в чистый хронос” – на дембель.

Отношение “сон – бодрствование” укладывается в общую схему социальной оппозиции “старший – младший”: “дедам” положено спать, “духам” положено не спать, причем вторые не спят для того, чтобы обслуживать сон первых.

Пока “деды” и прочие привилегированные лица досматривают свои любимые телевизионные программы, младшие товарищи обязаны подготовить их ложа ко сну: расстелить постели и отогнуть одеяла так, чтобы можно было укрыться одним движением руки. По первому требованию любой “дух” должен читать “деду” “дембельскую сказку”:

*Чик-чирик, п...к, ку-ку...
Скоро дембель старику.
Масло съели, день прошел,
Старшина домой ушел.
Пусть подохнут от тоски
Все шакалы и куски¹.
Пусть приснится им винтовка,
Ящик мыла и веревка.
Спи, старик, спокойной ночи,
Дембель стал на день короче.
Пусть приснится дом родной,
Баба с пшениною п...й,
Ящик водки, тива таз,
Деда-Язова приказ
Об увольнении в запас.*

Регулярное озвучивание благопожеланий социально воплощенным “дедам” социально бесплотными “духами” напоминает отношение хора к герою в античной трагедии. Структура ритуальных текстов включает момент противостояния общих для хора и героя сил добра и зла: сновидения антагонистов в лице офицеров и прапорщиков выдержаны в аллегориях войны и смерти (“винтовка, ящик мыла и веревка”). Сон протагониста – это галерея образов пира, мира и плодородия (родной дом, алкогольные напитки, приказ о демобилизации и женский половой орган).

Чтение “дембельской сказки” – театрализованное представление: читающий забирается на табуретку, варьирует интонации, жестикулирует, машет руками, изображая кукушку, и т. д. Инсценировка также сближает это действие с ритуалом.

В традиции исполнения гимна-колыбельной актуализируется архетипическое значение сна как критического состояния, пребывание в котором требует особых средств ритуальной поддержки, например трансляции жизненных сил от молодых к старым, осуществляемой в магии благопожелания. Отказ от прочтения “сказки” или “неправильное” ее исполнение расцениваются как навлечение на голову “деда” страшного проклятия и нарушение естественного порядка вещей и самого хода времени: “Сказку не будешь читать? Все читают, а ты не будешь? Ты что, хочешь, чтобы я не уволился?”

Ну какой “дух” не хочет, чтобы все эти “черпаки”, “деды” и дембеля уволились как можно быстрее?

Сакрализованная своим абсолютным статусом персона покинет профанное пространство и станет трансцендентным субъектом. А его место займет тот, кто сейчас читает ему “дембельскую сказку” и каждую ночь отрывает по единице от его временной “стометровки”, тот, за счет которого “дед” поднялся на вершину пирамиды и стал дембелем.

“Дух” – тень дембеля и его двойник. Он обретет социальное тело после того, как его вчерашний “злой гений” уйдет, оставив ему свою статусную оболочку. А пока “дух” должен помнить об этом и следить за дембельским календарем того, в чьем социальном “теле” он воплотится. Ведь это их общий календарь!

Эта связь – “духа”, социально воплощающегося в дедовщине, и “деда”, символически дематериализующегося в перспективе дембеля, – еще отчетливее проявляется в столовой, во время “стодневки”. Обычай велит “дедам” в течение ста дней до приказа отдавать свое масло “духам” – кормить их из рук. Но не просто так, а в обмен на ритуальное сообщение, сколько дней до прика-

¹ В армейском слэнге “шакал” – офицер, “кусок” – прапорщик.

за осталось. Если ошибся в цифре, то масло будет демонстративно уничтожено. В нашей части его швыряли... в потолок – в горние эмпиреи, так сказать, возвращая его туда, откуда явился в мир людей данный продукт в составе эманации всех благ земных.

Когда будет оборвана последняя цифра, “дед” становится дембелем и символически “умирает”. Его символическая смерть подчеркнута соответствующими знаками – он распрямляет бляху ремня, еще вчера имевшую форму полусферы и семиотику, аналогичную семиотике шаманского зеркала. То есть “дед”, ставший дембелем, ведет себя согласно алгоритму, принятому в архаических культурах, – разрушая свое “вместилище души”, так же как после смерти шамана следует разрезать его бубен, разбить зеркало и похоронить их вместе с ним.

Десоциализация гражданской личности с ее последующей ресоциализацией в качестве идеального солдата – подчиняющегося на уровне рефлексов, не размышляющего о целях, образах и смыслах собственного действия, – осуществляется посредством тотального вовлечения человека в автоматизированную деятельность

Ожидая увольнения в запас, дембель перестает быть “гламурным”. Гламурный вид имеет “дед”, а дембель – воплощение небытия – “должен быть чмошным”, – так гласит армейское изречение. Божество и ничтожество в своей трансцендентности социальной реальности изоморфны.

О смысле бессмысленного насилия

Человек, словами Макса Вебера, это животное, виисящее в паутине символов, сотканной им самим. Символы, конденсируя информацию в смыслы, многократно усиливают механическое действие человека, которое может быть как созидательным, так и разрушительным.

Бессмысленные издевательства дедовщины, как и любой другой доминантной системы, – это символизм в сфере насилия и принуждения, направленный на слом гражданской личности – ликвидацию ее образующих культурных смыслов.

Адаптация сознания к среде абсурда происходит на фундаментальном уровне – через отучение размышлять о смысле как таковом. Десоциализация гражданской личности с ее последующей ресоциализацией в качестве идеального солдата – подчиняющегося на уровне рефлексов, не размышляющего о целях, образах и смыслах собственного действия, – осуществляется посредством тотального вовлечения его в автоматизированную деятельность. Достигается это путем чередования нейтральных бессмысленно-механических действий (“муштра”) и активно-репрессивных действий. Репрессивные механические действия отличаются от нейтральных тем, что они, организованные по формальным признакам действия разумного и рационального, предлагаются пытаемому к осмыслению, но при этом всем известно, что они не имеют другой цели, кроме подавления его воли и сознания. Можно очень хорошо вымыть грязную казарму. Но чистую казарму вымыть невозможно, ее можно лишь бесконечно перемыть, и целью труда в этом случае будет не достижение чистоты, а подавление личности деятеля абсурдностью его действий. В ходе превращенной в физическую и психологическую пытку уборки помещений выхолащивается сам смысл эстетики и комфорта. Казарменная красота – это геометрия пространства, исключая человеческого присутствие. И работы по ее поддержанию, во-первых, ведутся бессмысленно непрерывно, во-вторых, их цель – подчеркнута репрессивна. Так и происходит организация труда в армии – не для выполнения рациональной работы, но для социального контроля путем тотальной репрессии, которая имеет у военачальников псевдорациональное обоснование – “занять личный состав”. В советско-российской армии, в которой “круглое носят, квадратное катают” и “подметают лопом плац”, лишенный смысла труд переосмыслен из рациональной деятельности в иррацио-

нальную в качестве средства репрессивного управления.

Сама эстетика казармы – ее чистота и красота, потому что она (и здесь в полной мере открывается антигуманитарное значение социального применения абсурда) не для жизни людей, а для их символической смерти. А средства наведения порядка посредством изоощренных технологий приобретают характер пытки, в чем и состоит цель изоощрения.

Все это бесконечное перемывание полов и стен с вареным (чтобы не мылилось!) мылом, набивание канта на заправленной кровати посредством табурета и тапочка, надраивание унитазов зубными щетками и бритвами (предметами, семантически связанными с чистым телесным верхом, абсурдно используемыми в среде грязного телесного низа) имеет целью семантическое уничтожение личности. Как лучше уничтожить человека мыслящего? Эмпирическим путем доказать абсурдность самого мышления. Точная инверсия принципа *cogito ergo sum*. Дембельский привет Декарту!



Чмо – антагонист “венцам творения”

Дедовщина является единственной социальной основой армейского общества, несмотря на видимость альтернативы “жизни по уставу”. “Жизнь по уставу” в представлении солдат есть нечто асоциальное. В качестве примера “живущего по уставу” новобранцам обычно предъявляют “чмо”. Если вы спросите любого солдата, кто такой чмо, он ответит, что это тот, кто живет по уставу.

Русские вообще отличаются специфическим правовым сознанием, в котором любой, кто жи-

вет по закону, может быть именован “чмо”. Школьник, не дающий списать, милиционер, изъывший права, отказавшись от взятки, сосед, решивший урегулировать с вами конфликт не мордобоем и/или выпивкой, а в суде, научный сотрудник, написавший рецензию на труд коллеги в духе “Платон мне друг, но истина дороже”, – все они могут быть названы этим словом – чмо. В широком смысле чмо – это антипод,

живущий вразрез с общепринятыми правилами. А по писаному закону жить в России не принято. “Знаем мы эти ваши конституции”, – произнесла прямо по телевизору одна судья, оглашавшая обвинительный приговор призывнику, потребовавшему прохождения альтернативной службы. “Альтернативщики” в глазах военной бюрократии – это тоже чмо, которым надо вдвое увеличить срок. В глазах полевых офицеров чмо являются “штабные крысы”, работники военкоматов. И так далее. В принципе существование чмо в открытом обществе не смертельно опасно. Можно,

в конце концов, выбрать себе другую среду присутствия. А вот существование чмо в обществе закрытом, обнесенном забором, внутри которого ни у кого нет возможности для уединения даже на время, – такое существование ужасно для всех, но для чмо оно всегда на грани жизни и смерти, поскольку общество его назначило быть ему антиподом, конденсатором всей разлитой в социуме скверны и ненависти.

Только что прибывшим в воинские части новобранцам представляют персонификаторов двух путей – brutальные, наглые, раскованные, украшенные всякими цацками “деды” и “черпаки”, и существо, которому “завтра на дембель”,

но его ударить, в любой форме унизить может каждый. Как хочешь служить, тем и будешь. Поэтому по уставу служить не хочет никто.

Дедовщина, предоставляющая гарантии социального воплощения, несмотря на бесправное положение служащих первый год, представляется самим солдатам более привлекательной, чем устав, не меньшим из двух зол, но более логичным: обезличивание и бесправие на протяжении всех двух лет службы выглядят таким же абсурдом, как и участь чмо (“опущенные” все два года службы живут “по уставу” и символически отправляются “на дембель” “с очка”, то есть покидают воинскую часть непосредственно из наряда по роте, в котором и провели все два года за чисткой туалетов). Таким образом, чмо как аккумулятор социальной скверны не только семиотически, но и почти физически “смешан с дерьмом” – антивеществом, операции с которым – единственная общественно-полезная функция всех антису-



ществ. (В этом они схожи с неприкасаемыми в Индии.) Важно заметить, что каждая ступень этой статусной лестницы оформлена разнообразными символами, за исключением первой, точнее сказать, “нулевой”, единственным символом которой является само тело и его физиологические отправления.

Для перевода армейского понятия “чмо” на язык общегражданских норм в качестве синонима часто используют выражение “козел отпущения”. Это не просто метафора. Речь идет о тождестве социальных функций жертвы, жертвоприношения и жертвенного поведения в архаических ритуально-правовых системах и в армейских неуставных отношениях. Здесь следует вспомнить, что история человеческих жертвоприношений знает два типа жертв: первый – самые лучшие члены общества, персонифицирующие его добродетели; второй – самые худшие, асоциальные субъекты, вбирающие в себя всю его скверну, вместе с которой устраниются. Лица, занимающие “опущенное” положение в экстремальных группах, представляют собой жертвенных субъектов второго вида.

Слишком просто было бы представить чмо только как патологию воинского коллектива. Социальная роль чмо общественно востребована: своим существованием она утверждает действующие порядки от обратного: “смотрите, как выглядит социальное несоответствие”.

Между ритуальными жертвами и социально-политическими, к примеру “жертвами репрессий”, казалось бы, нет ничего общего, кроме аллегории. Но если отбросить религиозный аспект в первом случае и идеологический пафос во втором, то обнажится единый социально-психологический алгоритм – консолидация социума путем выведения его экзистенциальной границы, проходящей через оппозиции “свой – чужой”, “человек – нечеловек”, “жизнь – смерть”.

История древнего мира имеет свои аналогии армейского чмо по социальному значению воплощенной асоциальности. “Предусмотрительные Афины, – пишет Рене Жирар, – содержали на свой счет несколько несчастных для жертвоприношений этого рода. В случае нужды, то есть когда город поражало или грозило поразить ка-

кое-то бедствие: эпидемии, голод, чужеземное вторжение, внутренние распри, – в распоряжении коллектива всегда имелся фармак. Жертва считается той скверной, которая заражает все вокруг себя, и смерть действительно очищает общину, поскольку возвращает туда мир. Поэтому фармака и проводили чуть ли не повсюду – чтобы он впитал всю нечистоту и взял ее на себя; после этого фармака выгоняли или убивали во время церемонии, в которой участвовало все население”. И армейский чмо, и греческий фармак являются жертвами по сути и судьбе. (Это пример жертвы второго типа; к нему также относятся и семитский козел отпущения, и японские куклы – двойники темной стороны личности, которых топят в воде в церемонии ритуального очищения.)

Жертва появляется на фоне потребностей общества в идентичности и консолидации, что не умаляет ее архетипического значения. Напротив, она служит еще одним подтверждением социогенной роли коллективного бессознательного, восстанавливающего идентичность общества, балансирующего на грани распада: “мы не знаем, кто мы есть, но точно знаем, что мы – не есть чмо”.

Элита в натуре

При распаде смыслового поля культуры распадаются и сложные коммуникации, не обеспечивающие трансляцию смыслов. Распад системы многомерных смысловых значений возвращает человека на нулевой уровень социогенеза, на котором первым и единственным из доступных и понятных средств коммуникации является само тело. На этом уровне физиологические акты выполняют функцию нормативно-правовых. Так, в сообществах солдат и заключенных половой гомосексуальный акт имеет не сексуальное, но социальное значение, и воспринимается в качестве абсолютно действенного инструмента экстренного регулирования социальных статусов. Совершить половой акт – значит опустить его пассивного участника ниже социального дна, до пограничного состояния изгоя. Пространственной метафорой этого положения в обществе является “параша”, или “очко” – унитаза, за мытьем

которых они должны проводить все свое свободное от других занятий время.

Интересно, что подобные проявления деградации культуры в семантической редукции коммуникативных символов могут проявляться и на уровне так называемых элит.

В советско-российской армии, в которой “круглое носят, квадратное катают” и “подметают ломом плац”, лишенный смысла труд переосмыслен из рациональной деятельности в иррациональную в качестве средства репрессивного управления

На всех уровнях политических “элит” в современной России физиологические акты сохраняют свое значение в качестве ресурса политического влияния. Физиологизация политики сама по себе говорит о состоянии политической культуры. Вспомним “компромат” на генпрокурора Ю. Скуратова – видеосъемку из борделя, показанную по федеральному каналу. Вероятно, подобные материалы собраны не только на Скуратова. Очевидно, в сбор таких материалов вовлечен целый штат специалистов. Вопрос – для чего? Какие такие открытия совершаются в этих съемках? В чем смысловой подтекст этих разоблачений, если это разоблачения в прямом, а не в переносном смысле слова? В том, что генпрокурор, оставляя в предбаннике мундир, оказывается просто голым мужиком? И какой из этого откровения вывод должны сделать телезрители, они же избиратели? Что член не лучшая замена жезлу правосудия?

В самом деле, сексуальное подавление в качестве знака социального доминирования присутствует уже у некоторых животных, например павианов. Так что не удивительно, что и у людей сексуальное проявляется как архетипический символ социального, поэтому ассоциация органа самца с символом власти естественна, но лишь на низших уровнях полисемантики,

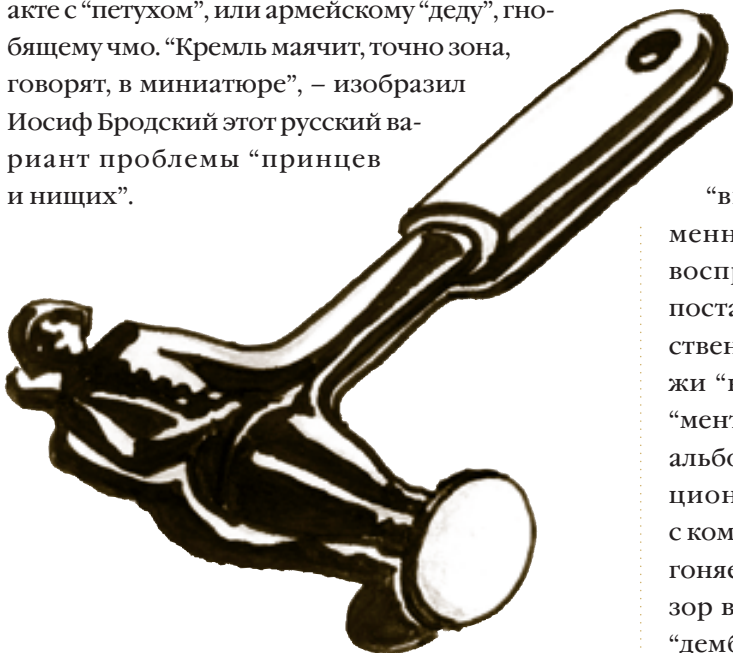
в начальной фазе культурогенеза, процессы которого обратимы.

Обратимость культурной эволюции можно наблюдать в тот момент, когда член парламента государства “Большой восьмерки”, обладающего достаточным количеством развитых информационных систем, политических и военных технологий, в ответ на политические импульсы реагирует импульсами физиологическими – снимает “порнофильм” про лидеров добившихся независимости бывших колоний этого государства.

В ряд этих примеров можно добавить и юмор политических лидеров, которые в беседах с оппонентами используют в качестве аргументации яркие физиологические образы.

Итак, обратимость культуры в процессах десоциализации оказывается свойственна различным сообществам и стратам. Видимо, в этом есть своеобразный эффект “перезагрузки” культурного “макропроцессора”, и не проблема, если она происходит в низкоресурсных маргинальных группах. Но если маргинализируются элиты, то десемантизация реальности ведет к распаду национальной культуры.

Депутат Госдумы, снимающий порнофильм про политических оппонентов, символически тождествен эзку, самоутверждающемуся в половом акте с “петухом”, или армейскому “деду”, гнобящему чмо. “Кремль маячит, точно зона, говорят, в миниатюре”, – изобразил Иосиф Бродский этот русский вариант проблемы “принцев и нищих”.



Но проблема культуры – не в частном девиантном поведении отдельных извращенцев, присутствующих во всех социальных стратах. “Культура высокая, элитарная, и культура низкая, как говорил Бахтин, «культура ниже пояса», существовали всегда, но они сосуществовали в пропорции, – объясняет философ Миронов. – Когда преобладала «низкая культура»? Во время карнавала. А сегодня технологии телекоммуникации диктуют свои законы культуре, и мир погружается в один сплошной карнавал, законам которого вынуждены подчиняться и элиты. Политик сегодня обязан быть шоуменом”. В деградации элитарной культуры проявляется феномен семиотической энтропии – девальвации смыслов в тотальной и глобальной синхронизации коммуникаций.

Стерилизованное телевидение сосредоточено в основном на трансляции комфортных сообщений либо раздражителей эмоций и рефлексов и несет минимум смысловой информации даже в передачах, имеющих статус информационно-аналитических. Министр обороны Сергей Иванов однажды в критике российского телевидения даже потребовал “прекратить дебилизацию страны”. Порыв прекрасный! У современного российского телевидения немало общего с дембельским искусством. И то, и другое предназначено для “анестезии” общественного гражданского сознания. Так же как “дембельский альбом”, герои которого ломают лбами кирпичи и заставляют своих антагонистов “вытирать слезы половой тряпкой”, современное российское телевидение занимается воспроизводством компенсаторных образов, поставляя униженному, изнасилованному собственными элитами народу брутальные имиджи “народных” героев – “братву”, “бригаду”, “ментов”, “афганцев”... Так же, как “дембельский альбом”, телевидение, заполняющее информационное поле плоским юмором вперемежку с комиксами “не страшного” насилия, как бы изгоняет народ из актуальной реальности. Телевизор в современной России – это электронный “дембельский альбом” нации. Нация собралась на дембель?